

---

У нас нет сведений о военной поддержке Святополком Изяславичем венгерского соседа. Скорее всего, силы русских князей были в то время скованы наличием половецкой опасности. Обращает на себя внимание тот факт, что Болеслав III на этот раз отказался от поддержки свояка, твердо выступив на стороне Калмана. Видимо, многолетняя борьба со Збигневом убедила польского короля в том, что поддержание единства страны сильнее родственных связей.

Анализ известных источников о венгерско-русских контактах последних лет правления в Киеве Святополка Изяславича приводит к выводу о том, что основой отношений между формальным главой рода Рюриковичей и венгерским королем Калманом Книжником был прочный союз, который не смогли разрушить междоусобные войны, регулярно вспыхивавшие в то время в Польше и Венгрии. Святополк ни разу не помог мятежному венгерскому принцу Алмошу в борьбе за престол. В Польше Калман и Святополк выступали союзниками законного князя Болеслава III Кривоустого. Информация Венгерского хроникального свода о намерении Калмана отомстить за нанесенные ему русскими обиды относится исключительно к Владимиру Мономаху, с которым у Калмана так и не сложились союзнические отношения.

П. С. Стефанович

### ВОЛОДАРЬ ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ В ПЛЕНУ У ПОЛЯКОВ (1122 г.): ИСТОЧНИК, ФАКТ, ЛЕГЕНДА, ВЫМЫСЕЛ\*

#### **Сообщение «Истории Российской» В. Н. Татищева**

Перейдем теперь к ещё одному оригинальному — последнему в нашем обзоре — свидетельству о пленении перемышльского князя. Речь идёт о сообщении В. Н. Татищева, помещённом в «Истории Российской» также под 6630 (1122) г. Как говорилось в начале статьи, И. А. Линниченко склонен был считать, что сообщение это так же, как и известие Длугоша, — но, разумеется, независимо от последнего<sup>1</sup>, — было взято историком из какой-то летописи «южного извода», бывшей в его распоряжении, но не дошедшей до нас. Однако М. С. Грушевский заметил, что Татищев заимствовал свои сведения из «Хроники Польской, Литовской, Жмудской и всей Руси» М. Стрыйковского, где, как известно, многие известия Длугоша, в том числе и это, просто повторяются. В правильности замечания украинского историка нельзя сомневаться, тем более что и сам Татищев в примечании к своему сообщению не только ссылается на Стрыйковского, но даже цитирует его.

Для наглядности сравнения мы помещаем в таблицу основной текст «Истории российской» в первой (1)<sup>2</sup> и второй (2)<sup>3</sup> редакциях и известие Стрыйковского (3)<sup>4</sup>:

---

\* Первую часть статьи см. в № 3 (25). С. 56–74.

<sup>1</sup> Татищев не читал по-латыни и, хотя и просил Академию наук сделать для него перевод «Анналов», по всей видимости, так его и не получил (Андреев А. И. Труды В. Н. Татищева по истории России // Татищев В. Н. Собрание сочинений в восьми томах. М., 1994. Т. I. С. 19). Он ссылается иногда на мнения или сообщения Длугоша, но знакомству с ними обязан Стрыйковскому, Кромеру и Бельскому.

<sup>2</sup> Татищев В. Н. Собрание сочинений в восьми томах. М., 1995. Т. IV. С. 183–184.

<sup>3</sup> Там же. Т. II. С. 135.

<sup>4</sup> *Strzykowski Maciej*. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiéj Rusi. Warszawa, 1846. Т. I. S. 186 (текст повторяет первое издание 1582 г.).

1	2	3
<p>В о л о д а р ь перемышльский, терпя много от ляхов, разоряли бо волость его, и собрав воя, иде сам на ня, многи волости их повоева. Болеслав же лядцкий посла к нему о мире просити, рекий: «аще престанеши, всю ти проторь заплачу». И Володарь, поверя тому, отпусти послы польские и вои собра, ста на урочище Высоком, ожидая послов лядких. Бысть же у Володаря воевода Петрон, имеяше перевесть с ляхи, даде знати ляхом, яко Володарь распусти дружину многу. Болеслав же, собрав вои, прииде в ысплох на Володаря и в ночи, займав стражи, нападе и многих от Володаревых избивающе. Володарь же, собрав елико можно дружины, бияся зельне. И егда многая дружина паде, тогда и Володарь ят бысть. Наши же, биющися крепце, товар весь спасоша и многих ляхов положиша. Ляхи же взяша князя, идоша восвои. Василько же, слышав сие, вельми печален бысть и посла к Болеславу просити о брате своем. Болеслав же проси за нь 2000 гривен сребра. И Василько посла за нь 1200 гривен, а в 800 посла сына его Ярослава в залог; и потом посла 50 сосудов серебряных великих дивной греческой работы, и тем искупи сына Ярослава (267).</p>	<p>Володарь перемышльский, терпя надолге, что поляки области его, нападая, разоряли, собрав войско, пошел сам на них, многие области польские разорил и попленил. Болеслав, слыша то, но не имея войск в готовности, посла к нему послов для учинения мира, обещывая ему заплатить все убытки, если разорять перестанет. Володарь, поверя сему, поставя договор на мере, присланных от Болеслава возвратно отпустил с тем договором, что на срок прислать послов с платою счисленных убытков. А войско собрав, стал на урочище Высоком. Был же у Володаря воевода Петрон, <i>родом поляк</i> [приписка в Воронцовском списке к основному тексту<sup>5</sup>], которой, ослепясь дарами и обещаниями польскими, имел тайную с ними пересылку. И усмотря Володаря в безопасности, тотчас дал знать поляком, что у Володаря войско многое разпусчено и сам ездит на охоту с малыми людьми. Болеслав же польский, вскоре собрав войска, послал и велел нечаянно нападение учинить. Оные, приближся и ночью отхватав стражи, на войско безопасное напав, стали побивать. Володарь, вскоча, собрал людей, сколько мог, бился крепко и, потеряв много людей, сам принужден поляком в плен отдаться. Но воеводы его некоторые, собрав людей, крепко бились и полякам не допустили обоз взять. Поляки, видя, что уже русские стали сильны и многих от них побиили, немедля оставя своих раненых, с Володарем ушли. Василько, брат Володарев, уздав о том, вельми опечалился и послал к Болеславу просить о свободе брата. Болеслав же требовал за него тяжкого выкупа. И договорились заплатить 2000 гривен сребра, по которому Василько собрав 1200, а за 800 посла сына Володарева <i>Ростислава</i> [так в Воронцовском списке поверх зачеркнутого <i>Ярослава</i>] в залог посла. По которому Володарь, освободясь, возвратился и немедля, собрав 50 сосудов великих серебряных дивной греческой и венгерской работ, послал и тем сына выкупил (372).</p>	<p>Roku od Christa Pana 1118, Wołodor, xiąże Ruskie Przemysłskie, zebrawszy wojsko z Rusaków i z Połowców, Polskę częstokroć najeżdżał, przeciw któremu Bolesław Krzywousty, monarcha Polski, wyprawił hetmany swoje z wojski, którzy Wołodora porazili i uciekającego na uroczyscu wysokim poimali, a do Krakowa związanego xiążęcicu Bolesławowi przywieźli; ale go Wasylko, oślepiiony brat, wykupił dwudziestą tysięcy grzywien srebra, a dawszy zaraz 12,000 grzywien srebra, w ostatku syna Jarosławowego xiążęcia Ruskiego w zakładzie zastawił, a potem dał pięćdziesiąt naczyń srebrnego do służby stołu xiążęcего, greckiej roboty, a tym Wołodora brata wybawił.</p>

Цифры в конце текстов Татищева обозначают номера примечаний. Текст примечания в 1-й и 2-й редакциях (номера, соответственно, 267 и 372) почти идентичен (цитируем первую редакцию, в квадратных скобках приводим варианты, кроме мелких отличий, второй)<sup>6</sup>:

«267 [372]. Стрыковский, кн. 5, гл. 10, в 1118-м году: Володарь, князь русский, перемышльский и червенский, собрав половцов, многократно Польшу, наезжая, разорял, Болеслав же посла против его воевод своих с войски, иже [которые] пришед, Володаря поразивши [при урочисче Высоком победа] и самого пленища [пленили]. Брат же его Василько искупи [выкупил] Володаря за 2000 гривен и прочие согласно. Кромер сказует, еже искупил за 1000 фунтов, и потому видно, что в сие время гривна руская полфунта счислялась. Что же Кромер и по нем Стрыковский, гл. 12, сказуют, яко Болеслав обманом Ярополка поймал, о том в русских не упоминается [но видно, что сей обман тем хотел закрыть]».

Из примечания следует, что, во-первых, текст Стрыковского Татищев передал не совсем точно (добавив в «титул» Володаря определение «червенский»<sup>7</sup> и несколько сократив текст), а во-вторых, что с известием о плене Володаря Татищев был знаком и по «Польской хронике» М. Кромера. Текст у этого хрониста, действительно, как замечает Татищев, в принципе «согласен» с текстом Стрыковского, хотя более краток и по-другому датирован (1124 г.); мы приведём его в польском переводе: «Tęgoż roku włásne Wołodór ksiąę przemyskie gdy częstokróć obyczajem rozbójniczym zdobycz z Polski uwoził a upominany porzestać zwyczajowi nie chciał, od Polakow u Wysokiego porażony, poimany i do Bolesława przywiedziony, dwudziestą tysięcy grzywien srebra okupił się»<sup>8</sup>.

«Согласие» объясняется тем, что оба хрониста пользовались одними источниками — «Анналами» Длугоша и «Хроникой» М. Меховского<sup>9</sup>. Любопытно замечание Татищева о соотношении гривны и фунта. Дело в том, что в польском переводе хроники Кромера сумма выкупа называется не в «1000 фунтов», а так же, как и у Стрыковского, — «двадцать тысяч гривен серебра». В фунтах сумма выкупа указана в латинском оригинале хроники Кромера и в её немецком переводе, но тоже — двадцать тысяч<sup>10</sup>. Согласно примечаниям И. В. Валкиной к первой части «Истории Российской», специально для Татищева К. А. Кондратович сделал перевод Кромера (не говорится, правда, по какому изданию и с какого языка), который потом Татищев сверял по польскому и латинскому изданиям<sup>11</sup>. Был ли знаком русский историк с немецким переводом Кромера, неясно (в каталоге его библиотеки немецкое издание не числится<sup>12</sup>). Однако, самое странное здесь — это сами цифры, которые приводит Татищев. Все польские хронисты вслед Длугошу и Меховскому говорят о двадцати тысячах как полной сумме выкупа (марок — в латиноязычных хрониках, гривен — в тех, которые были написаны по-польски или переведены на польский), некоторые из них упоминают, что часть в двенадцать тысяч была уплачена сразу<sup>13</sup>. Конечно, логично

<sup>5</sup> Воронцовский список отразил самый ранний вариант 2-й редакции «Истории».

<sup>6</sup> Татищев В. Н. Собрание сочинений в восьми томах. Т. II. С. 261; Т. IV. С. 432.

<sup>7</sup> Это добавление — совершенно произвольная догадка Татищева. У Стрыковского Володарь всегда обозначается как князь перемышльский и только. Вставку этого определения в виде титула следует, видимо, объяснять тем, что Татищев знал о борьбе за «червенские грады» польских и русских князей со времён Владимира Святого и хотел подчеркнуть принадлежность Червена к Руси.

<sup>8</sup> Kromer M. Kronika Polska, przelożona na polski przez Marcina z Błażowa Błażowskiego. Sanok, 1857. Z. 1. S. 255 (текст передаётся по краковскому изданию 1611 года).

<sup>9</sup> Matthiae de Michovia Chronica // Joannis Pistorii Polonicae historiae corpus. T. II. Basileae, 1582. P. 55 (впервые издана в 1555 г.). У Меховского, пользовавшегося «Анналами», сообщение практически совпадает с длугошевским. Он опустил только вводные слова о посольствах Болеслава к русским князьям и последнюю фразу с указанием о договоре между князьями и датой возвращения Володаря в Перемышль. Известно также, что Меховский использовал какую-то русскую летопись, возможно близкую Ипатьевской. Впрочем, русские летописи были и у Кромера, и, разумеется, у Стрыковского.

<sup>10</sup> В оригинале: «uicies mille pondo sive marcis argeti» (Martini Cromeri De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX, Basileae, 1555. P. 124). В немецком переводе: «zwenzig tausent pfund oder mark silbers» (Mitnächtischer Völkeren Historien in welcher viler Nationen etc. durch den Hochgelerten Herren Martinum Chromer aus Poland zu Latein fleußig beschriben, jetzzumalen aber durch Heinrich Pantaleon etc. verteutschet, gemehrt und in truck verordnet. Basel, 1562. S. cliii—cliiii).

<sup>11</sup> Татищев В. Н. Собрание сочинений в восьми томах. Т. I. С. 447.

<sup>12</sup> Пекарский П. П. Новые известия о В. Н. Татищеве. СПб., 1864. Приложение.

<sup>13</sup> Ср. также в «Польской хронике» Мартина и Иоахима Бельских: Bielski Marcin, Kronika Polska, księga I // Zbiór pisarzew polskich. Warszawa, 1829. Cz. 4. T. XI. S. 258—259. Этой хроникой пользовался Татищев, она упоминается среди книг,

предположить, что изначальные суммы выкупа были либо в источнике Татищева, либо он уменьшил ровно в десять раз цифры Стрыйковского, предполагая у того преувеличение. Но в любом случае остаётся неясным происхождение «1000 фунтов» — и у Кромера нет такой цифры, и она не может получиться десятикратным уменьшением. Если подозревать, что Татищев решился здесь на прямой подлог (зная, что его могут проверить, ведь Кромер — это не Иоакимовская летопись), то непонятно, ради чего, — зачем ему так уж нужно было замечание о соотношении гривны и фунта? Вероятней всё-таки, что на расчёты Татищева подтолкнула какая-то ошибка в переводе Кромера, которым пользовался русский историк (или, может быть, в данном случае он ссылался на Кромера по пересказу у какого-то другого автора?).

Обратимся к сравнению трёх текстов, помещённых в таблицу. Прежде всего, бросаются в глаза различия татищевского сообщения в первой и во второй редакциях «Истории российской». Татищев сильно изменил язык, что связано, очевидно, с основной причиной появления второй редакции — с переложением всей «Истории» из «древнего наречия» в «настоящее». Древние формы глаголов уступили место современным Татищеву, изменилась лексика («области» вместо «волости», «обоз» вместо «товар» и т. п.). Однако, изменяя язык, Татищев позволил себе и смысловые изменения, вернее, добавления. Появились малозначительные детали, которые несут не более чем декоративную функцию: «переветы» Петра объясняются обольщением «дарами и обещаниями» ляхов, воевода сообщает, что Володарь не только дружину распустил, но и на охоту ездит, «ляхи» не просто уходят, но ещё и раненых оставляют.

Три более существенных изменения выдают размышления Татищева чисто исторического характера и показывают, как он интерпретировал начальный текст и как вносил в него эти интерпретации без каких бы то ни было оговорок. Так, во второй редакции появилось дополнительное указание, что Петрон был «родом поляк»; имя сына Володаря, оставленного в Польше заложником, было исправлено из Ярослава в Ростислава; наконец, сосуды, посланные в счёт выкупа, оказались уже не только греческой работы, но и венгерской. Последнее дополнение можно объяснить тем, что, работая над историей Руси XII в., Татищев обратил внимание на тесные связи галицких князей, в том числе сына Володаря Владимира, с Венгерским королевством. Правка имени связана, по-видимому, с тем, что Татищев, продолжая работать над «Историей», больше нигде упоминаний об этом Ярославе не нашёл, зато Ростислава встретил в «длугошевских» известиях польских хроник и мог догадаться о его существовании по отчеству Ивана Ростиславича Берладника. Дополнение о происхождении Петра явилось следствием размышлений историка над известиями о Петре Влостовиче и Петре датчанине, переданными вслед Длугошу в том или ином виде всеми позднейшими польскими хронистами, а также над тем сообщением, которое помещено в Ипатьевской летописи под 6653 г. и было в той летописи — или тех летописях — которой (которыми) он пользовался. К этим размышлениям мы обратимся после того, как сравним известие Татищева с известием Стрыйковского.

Очевидно, что если задаться целью найти в сообщении «Истории» следы летописи, то обращаться надо к первой редакции. Конечно, первая редакции не была каким-то «первозданным» текстом, буквально повторяющим источник; это тоже был продукт определённой работы Татищева над собранными ими материалами, их согласования и интерпретации. Но всё-таки тот опыт работы, который накоплен в историографии относительно «татищевских известий», показывает, что от каждого более раннего варианта текста «Истории» следует ожидать большей близости к источнику, чем от более позднего; чем больше историк работал над своим произведением, тем больше нарастал объём интерпретаций (как явных — в примечаниях, — так и скрытых — в основном тексте), «прикрас» (как выражался сам Татищев) и просто выдумок (типа речей советника Юрия Долгорукого Громилы и т. п.). Наконец, если в основе его повествования лежала летопись, то в «древнем наречии» её следы должны обнаружиться более отчётливо.

Итак, сравнивая текст сообщения в первой редакции «Истории» с текстом Стрыйковского, мы должны констатировать, что они не идентичны. Начнём с того, что у них разная датировка. Поскольку

---

оставшихся после его смерти (см.: Пекарский П. П. Новые известия о В. Н. Татищеве. С. 61). Сообщение о плене Володаря здесь в сокращённом виде, под 1119 г.

ни одна из польских хроник, кроме Длугоша, не датирует событие 1122 г., надо признать, что дату Татищев взял из русской летописи. В рассказах польского хрониста и русского историка разная «завязка»: у первого Володарь нападает на Польшу и Болеслав сразу посылает своих «гетманов», а у второго «ляхи» грабят, поход Володаря оборонительный, и прежде военных действий между князьями начинаются переговоры. Далее Стрыйковский просто говорит о захвате Володаря и привозе его в Краков, в принципе повторяя Длугоша или Меховского. Татищев же даёт целый рассказ о «переветах» с поляками воеводы Володаря Петрона, о нападении поляков ночью и сражении, в котором русские потеряли князя, но отстояли «товар»; при этом о Кракове он не упоминает. В сообщении о выкупе также есть существенные отличия. Татищев снова несколько пространнее Стрыйковского и говорит сначала о пересылке между Васильком и Болеславом. У Стрыйковского выходит так, что Василько оставил заложником не Ярослава, а «сына Ярослава князя русского»; у Татищева, как у Длугоша и Меховского (чьих трудов он, напомним, не имел в своём распоряжении), в заложниках остаётся именно Ярослав, который представлен как сын Володаря (у Кромера о князе заложнике вообще не упоминается). Наконец, польский и русский историки называют разные суммы выкупа — у Татищева в десять раз меньше — но при этом число сосудов «греческой работы» (пятьдесят) у них совпадает (у Кромера о доставке посуды снова выпущено).

Как объяснить эти отличия? Теоретически возможны два варианта ответа: либо у Татищева был независимый источник (очевидно, русская летопись), либо он, взяв за основу текст Стрыйковского, что-то изменил, что-то добавил и сконструировал на «древнем наречии» новый текст.

В пользу первого варианта может говорить следующее. Татищев не скрывает своего знакомства с польскими хрониками и даже цитирует Стрыйковского в примечании параллельно своему повествованию в основной части. Если считать, что Татищев выдумывал своё известие, сознательно «мистифицируя» читателя, то надо признать, что-либо он был поразительно наивен, либо не менее поразительно хитёр, так как, имитируя честную ссылку, на самом деле изощрённым способом скрывал выдумку. Такая изощрённость вообще кажется странной, но ещё более странной она представляется ввиду других случаев, когда историк несколько не стеснялся помещать текст, взятый, например, из того же Стрыйковского, в своё погодное изложение, не ссылаясь на источник и вообще не удосуживаясь никакими примечаниями. Так он поступил, к примеру, в статье 6634 (1126) г., где поместил известие о конфликте детей Володаря. Известие это явно взято из Стрыйковского (у которого оно повторяет длугошевское), но несколько изменён порядок изложения информации, стилизован язык и добавлены *вероятные* детали<sup>14</sup>. Наконец, те уникальные сведения, которые даёт Татищев, выглядят правдоподобно, в первую очередь, упоминание «переветов» Петра<sup>15</sup>, и надо, во всяком случае, объяснить, как бы историк мог их придумать и зачем бы ему это делать.

Попробуем сформулировать сомнения, которые возбуждает известие Татищева. Прежде всего, если считать, что оно восходит к утраченной летописи, то логично было бы ожидать его сходства с известием Длугоша, которое, по нашему убеждению, происходит из русского летописного источника. Между тем, такого сходства никак не обнаруживается. То, что Стрыйковский опустил из длугошевского известия, но что как раз наверняка происходит из русской летописи — дата возвращения Володаря в Перемышль (а также, возможно, сообщение о заключённом мирном договоре) — у Татищева тоже отсутствует, а то, что у Татищева есть отличного от Стрыйковского — описание ночной битвы, сумма выкупа, упоминание Петрона — отсутствует в «Анналах».

Подозрительными также кажутся цифры «Истории». Число «сосудов для обслуживания княжеского стола», приведённое Стрыйковским, — пятьдесят — у Татищева повторяется. Однако, у Стрыйковского это явная ошибка, потому что в его источниках — у Длугоша и Меховского (у Кромера это сообщение опущено) — говорится не о пятидесяти, а о пятистах сосудах. Другие цифры в «Истории»

<sup>14</sup> Татищев В. Н. Собрание сочинений в восьми томах. Т. IV. С. 185–186.

<sup>15</sup> Именно на «естественности» рассказов Длугоша и — более полного (благодаря упоминанию Петра) — Татищева делал акцент И. А. Линниченко (см.: Линниченко И. А. Взаимные отношения Руси и Польши до половины XIV столетия. Приложение. С. 10).

по сравнению с «Хроникой» Стрыйковского уменьшены в десять раз. Но такого рода уменьшение вполне естественно для русского историка, который везде и, в особенности, у польских хронистов подозревал «баснословность» и пытался оценивать данные своих источников «реалистически». Не ходя далеко за примером, сошлёмся на статью 6632 (1124) г., где Татищев передаёт известие Радзивилловской летописи о пожаре в Киеве<sup>16</sup>. В его источнике сказано, что в пожаре «ц(е)рквей единех изгорело близь шести соть», а в «Истории» читаем «реалистический» и в то же время дополненный *по вероятности* вариант: «погореша церквей единех 30 и людей множество погоре»<sup>17</sup>. Таким образом, надо скорее предполагать не аутентичность цифр Татищева (и, соответственно, завышение суммы выкупа у Длугоша), а их вторичное происхождение в результате правки Стрыйковского, к которой его тем более подталкивала ошибка последнего в указании количества судов, отправленных в Краков.

Сомнения побуждают к объяснению «уникальных» данных Татищева в этом известии. При ближайшем рассмотрении эти данные также оказываются весьма подозрительны. Начало статьи у Татищева представляет собой просто пересказ Стрыйковского «наоборот»: у одного зачинщиком выступает Володарь, у другого — Болеслав. Далее Татищев повествует о переговорах князей через послов. Переговоры эти не содержат ни одной яркой и сколько-нибудь своеобразной детали, кроме редкого слова «проторь», которое якобы употребляет в своей речи Болеслав. Однако именно оно и заставляет сомневаться в достоверности текста. На это слово обратил внимание в новейшей работе, посвящённой «Истории», А. П. Толочко и убедительно показал, что оно было своего рода «находкой» Татищева, который, раз где-то встретив его, затем неоднократно употреблял его совершенно произвольно и прежде всего в известиях, происхождением явно обязанных перу и воображению самого историка<sup>18</sup>.

Не только слово «проторь», но и другие особенности языка татищевского сообщения исключают возможность считать «древнее наречие» первой редакции гарантией аутентичности текста. С грамматической и морфологической точек зрения в древнем тексте были бы невозможны слова «разоряли», «ожидая», «можно», вместо «многи» должно было бы быть «многы», а «великих» — «великых». Также и с лексической точки зрения невозможно было бы словосочетание «дивной греческой работы», поскольку данное значение слово «работа» приобрело гораздо позже<sup>19</sup>. Мы не можем согласиться с мнением, выраженным, например, С. Н. Валком в предисловии к одному из томов академического издания «Истории Российской» и повторяемым до сих пор, что «древнее наречие» Татищева — это «язык самих древних летописей»<sup>20</sup>. На самом деле это «древнее наречие» было стилизацией, особым языком, которым Татищев пользовался совершенно независимо от того, что было в его источнике. В примере, приведённом нами выше, о пожаре в Киеве хорошо видно, что историк стилизовал и сам оригинальный летописный текст. В летописи употреблена «новая» глагольная форма — «изгорело» — а Татищев всё равно на своём волапуке пишет «погореша» и «погоре». Свой стиль историк более или менее строго выдерживал практически на всем протяжении текста «Истории», даже там, где это было совершенно неуместно: например, в переводе (а точнее, пересказе) с польского языка известия Стрыйковского (в примечании к нашему сообщению) он также употребляет аористные формы глаголов. Эти явные несообразности говорят о том, что историк, очевидно, рассматривал такую манеру изложения не как «мистификацию» или «аутентизацию вымысла», а как свой особый стиль.

<sup>16</sup> То, что здесь Татищев пользовался именно Радзивилловской летописью, доказывается тем, что только в ней дата пожара называется (ошибочно) «июля 23 и 24» (вместо июня, как во всех других); см.: Радзивилловская или Кенигсбергская летопись. Фотомеханическое воспроизведение рукописи. СПб., 1902. Т. I. Л. 158 об.

<sup>17</sup> Татищев В. Н. Собрание сочинений в восьми томах. Т. IV. С. 184. Кстати, здесь «реалистичность» Татищева оказалась совершенно неуместна. Как показывают специальные исследования, летописное сообщение вполне реально, поскольку в Киеве были не только приходские церкви, но и частные, число которых надо предполагать, действительно, весьма значительным (см.: Стефанович П. С. Боярство и церковь в домонгольской Руси // Вопросы истории. 2002. № 7. С. 47–48).

<sup>18</sup> Толочко А. П. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. М.; Киев, 2005. С. 472–473, 485, 493. В связи с «древним наречием» Татищева А. П. Толочко ведёт речь об «аутентизации вымысла». Мы же предпочитаем говорить о «стилизации».

<sup>19</sup> Этими замечаниями о языке данного сообщения Татищева я обязан С. В. Конявской, за что и выражаю ей признательность.

<sup>20</sup> Татищев В. Н. Собрание сочинений в восьми томах. М., 1996. Т. VII. С. 30.

Рассказ Татищева о ночном нападении «в-ысплох» поляков на Володаря не даёт никаких «зацепок» для определения его происхождения. Такие детали, как роспуск «дружины», бой, который описывается с помощью блеклых выражений типа «бися зелне» и «биюцеса крепко», «спасение» «товара», возвращение поляков «восвоiasi» и т. д., — всё это вполне можно приписать творчеству историка, хорошо начитанному в летописях. Уникальное (по крайней мере, нам не встречавшееся) выражение «бися зелне» скорее снова указывает на стилизацию древнего текста. Наконец, и упоминание Татищевым «сына его Ярослава» вместо непонятного «сына Ярославова князя русского» можно объяснить догадкой историка, исправившего (и, как мы знаем, правильно) искажённое чтение «Хроники» Стрыйковского. Такого рода правки Татищев, конечно же, не мог стесняться, если он даже в цитировании с точной ссылкой на источник допускал сокращения и произвольные добавления (как это видно в его цитате из Стрыйковского в примечании).

Из «уникальных» сведений остаётся, таким образом, одно, но ключевое, а именно упоминание «переветов» «воеводы» Володаря Петрона с «ляхами». Но и его, видимо, можно в принципе объяснить умозаключениями Татищева. Хотя он не располагал всеми теми источниками, которые мы привели в настоящей статье, но он имел, во-первых, известие, помещённое в Ипатьевской летописи под 6653 г., и, во-вторых, хроники Стрыйковского, Кромера и Бельского, вобравшие в себя практически все сведения о Петре Влостовиче и Петре датчанине, которые существовали в более ранней польской историографии. Татищев, будучи, несомненно, пытливым исследователем и тонким интерпретатором, не мог не сопоставить все эти источники между собой и с известием о пленении Володаря. О таком сопоставлении он сам и говорит уже в примечании к этому известию: «Что же Кромер и по нем Стрыйковский, гл. 12, скажут, яко Болеслав обманом Ярополка поимал, о том в русских не упоминается». То есть рассказ о похищении Ярополка, автором которого, как мы знаем, был Кадлубек, а отнесение которого к киевскому князю надо приписать ошибке Длугоша, Татищев с самого начала сопоставил с известием о Володаре. Ещё более определённо историк высказывается ниже, в примечании к сообщению о войне Ярополка с Болеславом под 1138 г. (несомненно, происходящему из польских хроник). Пересказывая историю похищения Ярополка «Петром Влошковицем», Татищев приходит к заключению: «Сия есть явная басня, сложена из поимания и откупления Васильком брата ево Володимера<sup>21</sup>, что показано н. 267 (то есть в примечании к известию 1122 г. — П. С.). Обстоятельства поимания ложь оную обличают, а наипаче, якобы русские подданные поляком были, что ничем доказано быть не может...»<sup>22</sup>

Наконец, примечанием историк снабжает и известие Ипатьевской летописи 6653 г., которое у него помещено под 6651 (1143) г. Само известие у него изложено с таким виде: «Того же году Болеслав взял мужа злаго Петрона Дунина, иж пред тем предаде Володаря, ослепи его и язык ему урезав, весь статок его ограби, токмо со женою и з детьми выгна из земли. И тако отомсти тому нерядцу бог за неправду его (287)»<sup>23</sup>. Сравнив текст Татищева с летописным (а в данном случае у нас такая возможность есть), мы видим, насколько сильно историк преобразует свой источник, меняя и стиль, и содержание его. Фактически Татищев не цитирует летопись, а пересказывает её, причём в данном случае, казалось бы, без всякой необходимости: так, фразу о возмездии Петру со ссылкой на «евангельское слово» он заменил своим творчеством о «нерядце» (ещё одно полюбившееся историку слово, взятое из рассказа об убийстве Ярополка Изяславича, где оно, впрочем, является именем собственным<sup>24</sup>). В тексте известия заложен и элемент интерпретации, ставшей результатом знакомства Татищева с польскими хрониками: об этом говорит характеристика Петрона как «Дунина», то есть датчанина. Можно даже уточнить происхождение этого прозвища: в такой форме оно даётся только в «Хронике» Кромера, где Пётр охарактеризован как *Piotr Dunin pan na Skrzywnie* (в других польских

<sup>21</sup> Явная описка или ошибка Татищева в интерпретации имени князя: надо, конечно, Володарь.

<sup>22</sup> Татищев В. Н. Собрание сочинений в восьми томах. Т. IV. С. 436.

<sup>23</sup> Там же. Т. IV. С. 199. Отсутствие упоминания о том, куда отправился «Петрон» после казни, возможно, свидетельствует в пользу мнения, что в распоряжении Татищева была летопись близкая Ермолаевскому списку Ипатьевской — ведь только в этом списке вместо «и иде в Русь» говорится «и не иде в Русь но инуде» (см. выше).

<sup>24</sup> См.: Толочко А. П. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. С. 493–494.

хрониках его прозвище выглядит как *Dińczyk*<sup>25</sup>. В примечании (под номером 287) Татищев ссылается и на рассказ Бельского о казни Петра «Датчанина» после его неудачной шутки по поводу жены Владислава (у Стрыйковского этот рассказ опущен)<sup>26</sup>.

Таким образом, сопоставив известие русской летописи и польских хроник о казни и изгнании Петра, Татищев пришёл к выводу о том, что это одно лицо. Поскольку рассказ о похищении Ярополка Петром Влошковичем он отверг как «басню», из двух Петров у него остался один — «Дунин». В то же время он признал достоверным сообщение о пленении Володаря и, следуя летописному известию 6653 (6651) г., естественным образом должен был прийти к заключению, что пленителем перемышльского князя был этот «Петрон Дунин». Видимо, в суть прозвища «датчанин» и рассказ польских хронистов о происхождении Петра из Дании Татищев не стал вникать, а может быть, решил для себя, что это тоже «басня», поскольку легендарность многих «родословных» была уже для него ясна. Во всяком случае, позднее, при написании второй редакции «Истории», Татищев уже пришёл к выводу, что Петрон был «родом поляк», и вставил соответствующее указание в известие 1122 г. Не совсем понятно только, почему он в сообщении о казни Петрона сохраняет ему прозвище, взятое у поляков, а в рассказе о пленении Володаря этого прозвища нет ни в первой редакции, ни во второй. Возможно, Татищев не был уверен всё-таки в полной легендарности рассказа о Ярополке и «Петре Влошковиче» и, предлагая в известии 1122 г. имя без отчества или прозвания, оставлял возможность для двоякого решения вопроса, о ком идёт речь — «Влошковиче» или «Дунине». Неясно также, почему у него вообще Пётр выступает под именем «Петрон». Возможно, такая форма объясняется путаницей букв «н» и «к» в исходном летописном «Петрок», и либо сам историк неправильно прочитал летопись, либо пользовался каким-то неисправным списком Ипатьевской летописи или, точнее, Киевского свода кон. XII в. Но возможно также, «Петрон» происходит из латинской формы имени «Пётр» в родительном падеже — *Piotronis*; и поскольку из тех польских хроник, которыми пользовался Татищев, на латыни был написан только труд Кромера и в то же время прозвище «Дунин» происходит именно из этой хроники, то и форма «Петрон» может происходить именно оттуда.

Отметим, что в этих поисках и выводах, которые мы отчасти наблюдаем по примечаниям «Истории», отчасти восстанавливаем по основному её тексту, Татищев продемонстрировал недоужинные талант и чутьё историка. Достаточно только напомнить, что по-настоящему «баснь» о похищении Ярополка опроверг только Н. М. Карамзин (И. Н. Болтин в своей критике польских хронистов опирался на Татищеву).

В итоге, из вопросов, на которые надо ответить, если мы отвергаем аутентичность рассказа «Истории Российской» о перемышльском князе под 1122 г., остаётся, собственно, один главный: зачем её автору было выдумывать свой текст?

Думаем, в принципе ответ на этот вопрос дал сам Татищев, описав в ранней (1739 г.) редакции «Предъизвещения» к «Истории» свой метод работы с источниками: «Все вышеупомянутые манускрипты я собрал и, где что было недостаточно или неясно, дополнил, но теми же словами, какие имеются в манускриптах, ничего не переменяя в них, кроме не надлежащего к моему настоящему намерению, как то жития святых и тому подобное»<sup>27</sup>. Это признание Татищева, которое часто цитируется в специальной литературе, посвящённой «Истории», нельзя, конечно, понимать как исчерпывающую характеристику его методики — на самом деле, она была значительно более сложна и разнообразна. Но эти слова показательны, поскольку из них ясно, что Татищев вообще допускал вмешательство в текст источника,

<sup>25</sup> Kromer M. Kronika Polska, przełożona na polski przez Marcina z Biażowa Błażowskiego. S. 285.

<sup>26</sup> Татищев В. Н. Собрание сочинений в восьми томах. Т. IV. С. 437. Анахроничное упоминание Болеслава в основном тексте (вместо Владислава), видимо, просто описка, потому что в той же годовой статье Татищев пишет именно о Владиславе как «князе лядком». И в его источниках — как летописи, так и польских хрониках — никакой путаницы в этом плане не было.

<sup>27</sup> Татищев В. Н. Собрание сочинений в восьми томах. Т. VII. С. 59. Этот текст является современным переводом с немецкого, поскольку этот самый ранний вариант «Предъизвещения» сохранился не в оригинале, а только в немецком переводе, выполненном в 1739 г. по просьбе Татищева.



если «где что было недостаточно или неясно». Разумеется, чем больше историк размышлял над источниками, сопоставлял их между собой и интерпретировал, тем больше росла «недостаточность» и «неясность» и тем сильнее должно было быть такое вмешательство. Поскольку его представления о научно-историческом методе коренным образом отличались от принятых в современной науке, то это вмешательство вело к тому, что его исторические выводы и собственные идеи оказывались вплетены в ткань повествования, которое ни в коем случае нельзя принимать за простое цитирование источника с сохранением «древнего наречия». «Древнее наречие» — это язык и стиль самого Татищева, которым он одинаково передавал такие различия между собой «нарративы», как летопись и польская хроника.

Нельзя забывать и другие обстоятельства. Татищева нередко характеризуют как первопроходца. Действительно, в рационально-систематическом исследовании русских летописей он был первым. Сам прекрасно осознавая это, он подчёркивал, что историков ещё ждут открытия древних «манускриптов». Татищев работал с сознанием, что в его распоряжении находятся далеко не все данные и что если в каком-то из его источников «нечто проронено», то очень вероятно, что оно в будущем где-то «отыщется». Пока же он чувствовал себя вправе предвосхитить такие открытия, самостоятельно сочинив *вероятный правильный* текст.

Кроме того, автор «Истории Российской» никогда не ставил перед собой сугубо научные задачи. Он задумывал свой труд «к пользе общей» и «отечества». Поэтому этот труд нес определённую идейно-просветительскую нагрузку, а с другой стороны, что подчеркнём в данном случае, он должен был быть удобен и приятен для чтения. Татищев не боялся признаваться, например, что при переписывании «Истории» на «настоящее речение» он брал «многое из Степенной для прикрасы речения»<sup>28</sup>. Известны также, например, его заботы о портретах князей, которые должны были сопровождать текст «Истории» (очевидно, по примеру западноевропейских изданий, например, «Хроники» Бельского).

Думается, эти соображения могут объяснить *теоретически* появление текста Татищева о пленении Володаря. *Практически* же мы имеем специальный анализ одного более раннего известия Татищева, которое по манере изложения напоминает известие 1122 г. А. П. Толочко разобрал «уникальное» сообщение «Истории» о походе Владимира Мономаха и Олега Святославича «на чехов» в 1076 г. и выяснил, что в основе его была короткая фраза «Повести временных лет», которую Татищев сопоставил с информацией в «Хронике польской» Бельского и которую, основываясь на этой информации, развернул в целый рассказ с диалогами князей, упоминанием воеводы по имени Лопата и т. п.<sup>29</sup> Вывод А. П. Толочко, что этот рассказ — плод творчества Татищева, обоснован, в частности, и демонстрацией искусственности «древнего наречия». Для нас важно, что манера изложения этого рассказа такая же, как нашего: в основном тексте Татищев даёт свой рассказ, а в примечании цитирует Бельского, Гваньини и Гагека с заключением — «а о русских никоторой не упоминает, но обстоятельства их сказания довольно являют, что Несторово сказание вероятное», а затем ещё обличает «ложь» Стрыйковского<sup>30</sup>. Толочко замечает: «Татищев решил (как делал и в других случаях), что Бельский и Гваньини используют более полное “Несторово сказание”, и “восполнил” их сообщениями недостающее, по его мнению, продолжение летописной статьи»<sup>31</sup>.

Если структура повествования «Истории» в обоих случаях сходна, то мы вправе ожидать, что и происхождение известия 1122 г. будет такое же, как и известия 1076 г. В нашем случае историк точно так же имел одну фразу древних летописей «яша Ляхове (лестью) Володаря Василкова брата» и более подробный рассказ в польских хрониках. Поскольку он прекрасно знал, что Стрыйковский пользовался русскими летописями, то для него было вполне естественно на основе его данных восстановить «правильный и реалистический» (без «басен», пропусков и т. д.) рассказ — конечно, с интегрированными

<sup>28</sup> Из письма Татищева Шумахеру 1746 г., цит. по: Валк С. Н. О рукописях второй редакции второй части «Истории российской» В. Н. Татищева // Татищев В. Н. Собрание сочинений в восьми томах. Т. II. С. 8.

<sup>29</sup> Толочко А. П. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. С. 477–487.

<sup>30</sup> Татищев В. Н. Собрание сочинений в восьми томах. Т. IV. С. 425.

<sup>31</sup> Толочко А. П. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. С. 481.

собственными выводами о том, как всё было на самом деле. Этот «правильный» рассказ он стилизовал на своём «древнем наречии» примерно так же, как художники, писавшие гравюры для западноевропейских хроник XVI–XVII в., стилизовали свои портреты древних правителей «под старину». Остаток летописной фразы можно видеть в словах Татищева «тогда и Володарь ят бысть» (отсутствие слова «лесть» говорит о том, что историк использовал летопись не «Ипатьевской группы», а видимо, Радзивиловскую, где это слово пропущено, как и во всех «Лаврентьевской группы»). В примечании он привёл и Стрыйковского, конечно, не пытаясь «замести следы» своей «мистификации», а напротив, проявив, если угодно, в каком-то смысле честность и аккуратность — то есть он, собственно, давал читателю судить об источниках его конструкции (которую он сам понимал как реконструкцию). Предлагая свой «правильный» вариант «изначального» известия о событии, Татищев как в этом примечании, так и подробнее в последующих критикует польских хронистов за тенденциозные «басни», о которых «в русских (читай: в «более правильных») не упоминается».

Те случаи, когда Татищев приводит стилизованные пересказы Стрыйковского или других западных хронистов прямо в основном тексте без каких-либо примечаний (см. выше приведённый нами пример статьи 1126 г.), думаем, надо объяснять так. Видимо, в этих случаях, с одной стороны, Татищев не имел вообще никаких аналогий в русских источниках, а с другой — у него не было повода подозревать авторов этих сообщений в какой-либо злонамеренности. Поэтому можно было принять их данные как «правильные» сразу в основной текст, лишь слегка, возможно, поправив и переоформив в «древнее наречие».

Таким образом, наш анализ последнего оригинального свидетельства о пленении перемышльского князя Володаря в 1122 г. показывает, что его оригинальность надо связывать не с некими аутентичными, но не сохранившимися источниками, а со своеобразным способом повествования и методом подачи собственных интерпретаций, присущими автору первой научной «русской истории». Конечно, защита «доброе имени» «последнего русского летописца» в духе Б. А. Рыбакова и А. Г. Кузьмина просто наивна. Однако, по большому счёту, не менее наивны и оценки с обратным знаком типа «фальсификаций» и «мистификаций». Дело просто в том, что у Татищева была своя методика, отличная от нашей, и своё понимание исторического «дискурса». Вместе с тем, мы убеждены, что отрицание исторической ценности одного сообщения Татищева не должно вести не только к признанию историка «лгуном» и «мистификатором», но и к отвержению вообще всех уникальных «татищевских известий» как недостоверных. Пока мы не в состоянии предложить рациональных объяснений для всех этих известий, должен быть оставлен открытым и вопрос о несохранившихся летописях (или списках известных летописей), бывших в распоряжении историка.

### **Заключение**

Вернёмся к нашему сюжету. Проведя последовательный анализ всех доступных нам сегодня источников, упоминающих о пленении перемышльского князя Володаря Ростиславича поляками, мы можем, наконец, выделить среди них наиболее достоверные, менее достоверные и недостоверные. В последнюю категорию попадает известие «Истории Российской» В. Н. Татищева. Лишь в небольшой части достоверными, а в основном легендарными, можно признать рассказы о похищении Володаря польским воеводой Петром (Влостовичем) у Герборда и Кадлубека. И, наконец, по большей части соответствующими действительности оказываются данные «Хроники Ортлиба» и «Анналов» Длугоша в той их части, где отразилось летописное сообщение о Володаре, а совершенно нельзя усомниться в достоверности известий Ипатьевской летописи (по Хлебниковскому и Ипатьевскому спискам).

Разумеется, оставляем в стороне целый ряд источников, которые лишь повторяли те сведения, содержащиеся в указанных нами. Для полноты картины отметим, что в этот ряд вместе с польскими хрониками XVI в. попадает и Густынская летопись, которая в сокращённом виде передаёт «длугошевские» известия о Володаре и Петре по Бельскому (на полях имеются ссылки и на Кромера

и Гваньини, но они, похоже, проставлены задним числом не для указания источника сведений, а для указания, где вообще об этом говорится)<sup>32</sup>.

Опираясь на достоверную информацию об историческом событии, можно дать ему и адекватную историческую оценку. Самое важное, с нашей точки зрения, о чём свидетельствует история с Володаром Ростиславичем и Петром Влостовичем, — это тот факт, что тесные связи Руси и Польши выражались не только в военно-политических, дипломатических, экономических, культурных контактах, но и в том, что на современном бюрократическом языке принято называть «человеческими контактами». В данном случае перед нами пример перехода знатного человека со службы польскому князю на службу русскому, имевший своё яркое и даже драматическое «человеческое измерение», хотя и не лишённый, разумеется, определённого политического значения. Перемещения людей, в том числе входивших в элиту Польского и Русского государств, следует и без того предполагать по некоторым данным. Можно вспомнить, например, рассказ Киево-Печерского Патерика о Моисее Угрине, который попал в плен к знатной полячке; в 60–70-е годы XII в. на службе у смоленских князей упоминается некий Владислав Лях, имя и прозвище которого скорее всего указывают на польское происхождение; известны также имена галицких бояр первой половины XIII в. явно западнославянского происхождения. Однако в нашем случае восстанавливается целая история взаимоотношений польского вельможи и русского князя.

Нельзя верить в легенду, что переход Петра к Володарю, а затем пленение князя были спланированным «спецмероприятием» польского князя и его советников. Такого рода «акции» в то время были просто технически неосуществимы (хотя бы потому, что если кто-то в «сенате» Болеслава был в курсе дела, то очень скоро сведения дошли бы и до Перемышля). Вне всякого сомнения, замысел перехода принадлежал Петру, и ответственность за последствия лежала на нём. Едва ли он заранее рассчитал, как будут разворачиваться события, и скорее должен был предполагать, что его новая служба — это «всерьёз и надолго». Во всяком случае, то место, какое поляк занял при дворе перемышльского князя, и тот факт, что он стал крестником княжича, однозначно говорят о серьёзности отношения к нему Володаря. Очевидно, князь ценил выдающегося «можновладца», прибывшего к нему, если верить «официальной версии» польского двора, со своими людьми в количестве 30 человек, — это было значительное усиление его «дружины»<sup>33</sup>. Из деталей этого «перехода» отметим особенно упоминание продолжателем Ортлиба клятвы верности, которую принёс поляк Володарю. Это свидетельство является уникальным для Древней Руси, где присяга верности человека, поступающего на службу к князю, не фиксируется<sup>34</sup>. Однако, если верить цвифальтенской хронике, по крайней мере, в западных русских землях с таким обычаем должны были быть знакомы.

К сожалению, не ясны причины ухода Петра Влостовича обратно в Польшу. Вероятно, на компромисс пошёл Болеслав; возможно, обретение «новой родины» давалось не без труда Петру, а место при дворе краковского князя рассматривалось всё-таки как более выгодное и блестящее, чем в русском княжестве, образовавшемся только несколько десятилетий назад. В известии Длугоша пленение Володаря показано как результат военных действий, не представлявших собой ничего экстраординарного (обычные конфликты пограничных государств). В чём конкретно состояла «лесть», непонятно. Возможно, сообщение Герборда, что князь был взят в плен во время охоты, отражает каким-то образом действительность. Но скорее, причина появления этого сообщения такая же, как происхождение упоминания об охоте Володаря у Татищева — *правдоподобная выдумка или догадка*. Хотя и летописное

<sup>32</sup> ПСРЛ. СПб., 2003. Т. 40. С. 76–79, 81.

<sup>33</sup> Известные аналогичные «переходы» совершались знатными людьми не в одиночку, но всем «домом». Ср. сообщение Патерика Киево-Печерского монастыря о приходе варяга Шимона на службу к Ярославу «Мудрому» «со всем домою своим, яко до 3000 душ, и со еrei своими» (Патерик Киево-Печерского монастыря. СПб., 1911. С. 5), а также историю обоснования в Москве при Иване Калите Родиона Нестеровича, родоначальника Квашниных, который пришёл Москву с двором численностью в 1700 человек (подробнее анализ известий о Родионе см.: Горский А. А. Москва и Орда. М. 2000. С. 35–37).

<sup>34</sup> Ср.: Стефанович П. С. Давали ли служилые люди клятву верности князю в средневековой Руси? // Мир истории. Электронный журнал. 2006. № 1. <http://www.historia.ru>.

известие 1122 г. о пленении Володаря, отразившееся у Длугоша, не упоминает Петра, но поскольку именно на него возлагается ответственность за это событие всеми остальными источниками, нельзя сомневаться, что его роль здесь была главная. Как мы уже говорили выше, перемышльский князь стал своего рода трофеем польского вельможи, претендовавшего на самое высокое положение при дворе Болеслава. Безусловно, Пётр Влостович получил свою долю из выкупа, доставленного в Краков. Само определение суммы выкупа наверняка не обошлось без его участия, поскольку состояние казны князя никто в Польше лучше него знать не мог. Кстати, упоминание «сосудов греческой работы» вряд ли случайно и должно быть сопоставлено с фактом выдачи дочери Володаря замуж за сына византийского императора Алексея Комнина<sup>35</sup>.

Пётр Влостович вернул себе первое место в элите Польского государства и сохранял его долго. Компромисс с Болеславом выдержал проверку временем. Несмотря на то что сомнительность всей истории ощущалась и в Польше, и на Руси, требования *Realpolitik* оказались сильнее. Не только польский князь предал забвению переход своего вельможи в стан враждебного соседа, но и на Руси, видимо, могли смотреть по-разному на всю эту историю. Во всяком случае, после своего падения Пётр Влостович нашёл убежище именно на Руси (не говоря о том, что его женитьба на русской княжне могла состояться не до или во время пребывания в Перемышле, но и после). Это говорит о том, что понятия «предательства» и «измены» не были абсолютными в то время (хотя, конечно, и не пустыми словами), и их идеальное содержание корректировалось материально-практическими соображениями. Представители «книжной культуры», конечно, были способны найти разные обоснования в пользу той или иной трактовки поступка Петра Влостовича. Кадлубек и Герборд находят возможным его оправдать, поскольку он действовал ради «пользы Отечества» (у первого автора) или ради укрепления власти правителя, несшего свет истинной веры диким поморянам (у второго). Для монаха Цвифальтенского монастыря и русского летописца важнее было осудить предательство и вероломство как грех относительно христианских заповедей. В целом, сходство в теоретических оценках события и в практическом отношении к его участникам позволяет говорить о близости той политической культуры, в контексте которой складывались отношения не только правителей (князей) между собой, но и между правителями и представителями знати соседних государств на «центрально-восточноевропейском пространстве» в первой половине XII в.

Кроме восстановления хода событий и оценки одного любопытного эпизода из нашей древней истории, побочным, но, как нам кажется, не безынтересным, результатом нашего исследования стали выводы относительно наличия летописных выдержек в составе «Анналов» Длугоша и метода работы В. Н. Татищева. Полагаем, вывод о достоверности одного из уникальных сообщений Длугоша по истории домонгольской Руси может стать аргументом в пользу — впрочем, и без того достаточно обоснованного мнения о том, что в распоряжении польского хрониста, действительно, была какая-то русская летопись, не дошедшая до нас, но содержавшая сведения, неизвестные по другим летописям. С другой стороны, наши наблюдения над исследовательским методом и манерой изложения В. Н. Татищева могут быть бесполезны в дальнейшем (по большому счёту, ещё только начавшемся) изучении как уникальных «татищевских известий», так и ранних этапов развития отечественной исторической науки.

---

<sup>35</sup> ПСРА. Л., 1926–1928. Т. 1. Вып. 1–3. Стб. 280 (1104 г.).